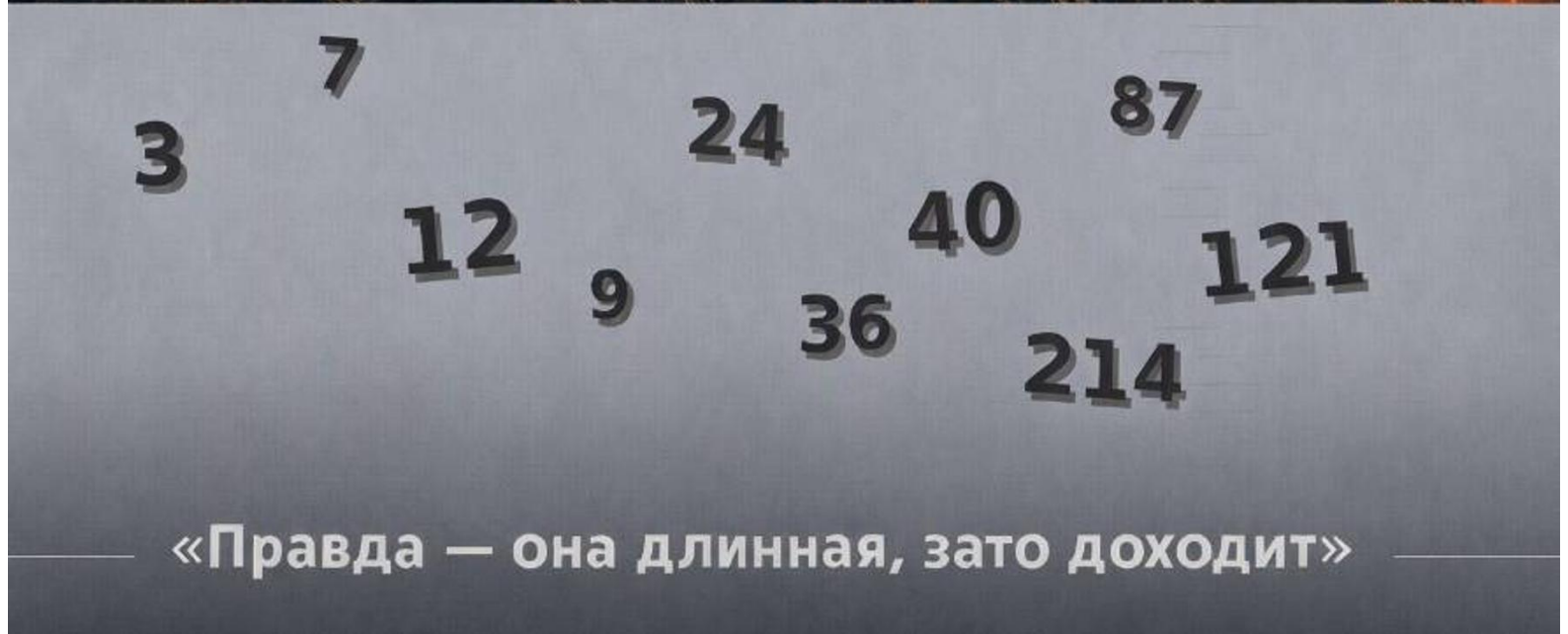
ВАДИМ КУЛИКОВ



ГРЕБЕНЬ 1941



«Правда — она длинная, зато доходит»

Вадим Куликов

Гребень 1941

«Автор»
2026

Куликов В. А.

Гребень 1941 / В. А. Куликов — «Автор», 2026

Ноябрь 1941 года. Высота над замёрзшей рекой. Её нельзя отдать и нельзя обойти.Сержант Серёжа Соколов ведёт счёт дням на войне — мелом, на шинели: 3, 7, 12, 24. Каждое число — день, который он пережил. Каждый день — письма домой, которые он пишет ночью, при свете коптилки, когда гребень спит.С высоты видно всё: реку, дорогу, приближающегося противника. Но самое страшное на войне видно не оттуда. Самое страшное видно, когда поднимаешь ствол на своих.Один выстрел. Один человек падает в снег. И с этой минуты Серёжа ведёт второй счёт — счёт правды, которую нельзя отдать и нельзя проштемелевать в конверт. Правда — она длинная, зато доходит.Пронзительная военная проза о том, как остаться человеком, когда война требует забыть, что это такое. О цене одного выстрела. О письмах, которые доходят, даже когда их не отправляют.Для читателей, кто ищет окопную правду без глянца.

© Куликов В. А., 2026
© Автор, 2026

Вадим Куликов
Гребень 1941

ГРЕБЕНЬ

Ноябрь сорок первого. Сержант Соколов пишет письма за всю роту — и знает: за каждой строчкой стоит чей-то дом, который он никогда не увидит. Пока гребень держится, этого достаточно. Но на войне есть счёт, который ведётся без бумаг, — и однажды он подойдёт к каждому, кто ещё пишет «жив».

Глава 1. Гребень

Гребень стоит над рекой, и с него видно всё: дорогу, брод, лес по ту сторону. Поэтому нам его и не пройти, и нам его не отдать. Поэтому мы на нём и стоим с ноября.

Меня зовут Серёжа Соколов, я сержант, и во мне живёт ремесло, которое старше меня: я пишу письма. Не свои — чужие. Ко мне выстраивается очередь, и каждый кладёт передо мной своё горе, как кладут на прилавок, и я заворачиваю его в слова. «Дорогая мама. Жив. Здоров. Не беспокойся». Я умею писать живым. Этому никто не учит — этому учит очередь.

Пашка — мой сосед по нару. Ему девятнадцать, и он улыбается так, будто его отпустили из школы на перемену навсегда. Он не умеет писать: он диктует мне матери письмо, и я пишу, и на середине он говорит: «Серёжа, напиши: мама, я жив, — и всё, больше ничего не надо». Я пишу «Мама, я жив», и он сворачивает бумажку вчетверо, и я вижу, что он держит её не в кармане — он держит её на ладони, как держат билет в кино.

Санёк достал аккордеон. Не гармонь — аккордеон, довоенный, с перламутром, трофей, притащенный откуда-то с поля в декабре. Играть он не умеет. Он умеет один аккорд — ля минор, «Am» — и говорит: «Am — это легко. Нажимаешь три кнопки — и красивенько». И весь вечер жмёт свой Am, и аккордеон плачет этим одним звуком, и нам хватает. У войны не бывает лишней красоты — ей хватает и одного аккорда.

Колька держит руки в кармане. Всю зиму держал — я думал, дымит тайком, боится старшины. А в декабре он вынул руки — и они были пустые. Не пустые в смысле «пусто»: пустые в смысле «нет». Пальцев нет — от второго сустава: обморозил в октябре, в окопе, молча, как всё на этой войне делается молча. Он теперь берёт кружку локтями, ест локтями, и когда кто-нибудь из молодых по неосторожности смотрит на его руки — он прячет их и говорит: «Не смотрели бы. Всё равно не поверите, что было». Колька не жалуется. Колька считает. Он говорит мне: «Серёжа, запиши: я живой, а пальцы у меня теперь живут отдельно, в санчасти. И там, поди, тоже не скучно».

Кир — миномётчик. У него тетрадь, клеёнчатая, со шнурком, и в этой тетради — счёт. Кир считает вытащенных. Тех, кого санитары унесли с гребня живыми, он вписывает в тетрадь и подписывает: «живой». Цифры у него простые, и я видел их краем глаза: восемьдесят. Восемьдесят не вписанных — на той стороне счёта, где у Кира нет ни бумаги, ни чернил. Двадцать три — вытащенных. Кир не считает убитых — он считает живых, потому что, говорит он, «считать надо то, что можешь ещё увеличить». И когда двадцать третья строка ложится в тетрадь — Кир закрывает её и ест кашу, как будто это самое важное событие года. Может, и есть.

А дизель — тарахтит. Между залпами, в паузах, когда гребень замолкает и мы встаём на колени на накате, — снизу, из-под косогора, приходит дизельный тарахт: ровный, хозяйственный, как трактор на осенней пашне. «Трактор», — говорят наши, и все понимают. Самоходка. Она выходит на косогор, делает своё дело — и уходит, не задыхаясь, не суетясь, по-домашнему. От неё нельзя спрятаться в лоб — от неё можно только ждать. И весь декабрь мы ждём, лежа на накатах, и слушаем, как тарахтит чужое хозяйство на пашне, где мы — репа.

Накаты у нас в три бревна. Стена — мёрзлый глиняный бруствер, облитый водой: вода замёрзла, и стена стала камнем. Мы сидим под ней, как под крышкой погреба, и Санёк жмёт

свой Am, и Пашка держит свою записку на ладони, и Кир пишет в тетрадь «живой», и я пишу письма — и всё это происходит между двумя тарахтами. Война — это то, что происходит между двумя тарахтами. Пока тарахтит — её нет. Как только смолкает — она есть.

В тот день, о котором я говорю, заявка ушла из штаба. Я узнал об этом позже — месяц спустя, — а тогда я знал только, что ночью гребень накрыло своим же огнём. Не дизелем — своим. Свои орудия легли по своим накатам, по своим траншеям, по своим письмам. Я лежал под мёрзлой стеной и слышал, как свистит — своё. Свой свист я отличаю от чужого: чужой свист — визгливый, отчаянный, а свой — серьёзный, деловой, такой, будто у него документы в порядке.

Пашка лежал справа от меня, на краю траншеи. Он лежал на спине, лицом к небу, — в небе шёл снег, который никуда не торопился, — и в его кулаке, сжатом вчетверо, была записка. «Мама, я жив». Он держал её, как держат билет, — и я не смог разжать его руку. Ни тогда, ни потом — не смог и не захотел: пусть при нём останется.

После Пашки мне больше не для кого писать письма. С тех пор я пишу только одну строчку. Но об этом — позже.

Глава 2. Потолок

Меня везут в тыл — санитарным поездом, в теплушке, где вдоль стен положены доски, а между ними тридцать человек и один потолок. Потолок — это то, на что я смотрю все четыреста километров. Меня слегка задело осколком по виску, и в госпитале я оказался больше из-за уха, чем из-за жизни, но уши на войне — вещь главная: без ушей не услышишь свист.

Потолок — серый, из шлифованных досок, в швах — пакля. На пакле сидит пыль, и я по пыли читаю, как по карте: вот тут комната сгнила — сыпалась вниз струйкой; вот тут под потолком курят — сухая, чёрная тень; вот тут потолок чистый, и под чистым потолком лежит тот, о ком говорят шёпотом. По потолку госпиталя можно прочитать всё.

Сестра — Аня. Она носит яблоки и карболку, и от неё пахнет обоими сразу: яблоками — тепло, карболкой — снаружи. Она приходит по палате с подносом, и на подносе — яблоки, настоящие, зимние, с восковым налётом, которые она тащит, кажется, из другого времени. Она говорит: «Ешь. Это из сада при госпитале. Сад — это то, что воюет не хуже нас: пережил все налёты и всё равно даёт плоды». Я ем яблоко, и у яблока вкус всех моих зим сразу, и я не могу съесть его до конца — останавливаюсь на середине, потому что дальше — горло не даёт: слишком живой вкус для человека, который только что видел потолок.

В палате со мной — Миша. Миша спит на соседней койке и ступни у него нет — отрезана по щиколотку, и он это выносит так, как выносят погоду: не обсуждают. Он мне говорит на третий день:

— Серёжа, а след-то мой остался?

— Какой след?

— Там. На снегу. Где я лежал.

— Остался, — говорю я. Ложь — тоже письмо: я умею писать живым.

— Хорошо, — говорит Миша. И поворачивается к потолку.

Когда наступает день выписки, мне говорят: «Эвакуация». И я спрашиваю — куда? Мне говорят — «едете». И я это запоминаю навсегда, потому что на войне слово «едете» означает «не спрашивай». Мы едем. Едете — значит, едете.

На перроне, где поезд стоит пятнадцать минут, я вижу Кира. Он стоит у состава — с той стороны, где никому не положено стоять, — и на нём шинель на два размера больше, и в руках — свёрток. Он протягивает мне свёрток, и я открываю его на ходу, в тамбуре, когда колёса уже стучат. В свёртке — тетрадь. Клеёнчатая, со шнурком — такая же, как у Кира, только чистая. Моя.

Внутри, на первой странице, — строчка. Крепким, ровным почерком Кира, каким он пишет только «живой»: «Серёжа, когда будешь писать матери Пашки, — пиши не то, что легко, а то, что правда. Правда — она длинная, зато доходит».

Я читаю эту строку, и поезд идёт, и перрон уходит назад, и Кир стоит на перроне, маленький из окна, в огромной шинели, и я понимаю, что мне некуда ехать, кроме как к матери Пашки. И что мне нечего писать ей, кроме правды. А правды у меня нет — у меня есть только журнал, который я нашёл в штабе. Об этом — следующая глава.

Глава 3. Кукуха

Возвращаюсь я на фронт с одной-единственной работой: узнать, что было в ту ночь. И работа эта приводит меня в штаб — не в дальний, в полковой, где бумажки пахнут сапогом и печным дымом, — потому что орудие, которое легло по своим накатам, не выстрелило само. Его навели. А наведение — это заявка, а заявка — это журнал.

Журнал я нахожу в декабре, в два часа ночи, когда дежурный уходит греть чай. Журнал заявок — канцелярская книга в картонной обложке, и в ней всё, как на исповеди: время, квадрат, «огневой рубеж», «исполнение». Я листаю назад — к той ночи. И нахожу.

«Заявка № 217. Исполнение силами 2-го дивизиона. Координаты — 58-36, гребень, наши позиции. Причина: предположительное передвижение противника по нашим позициям» — и дальше, вместо подписи, — «ст. л-т Г.».

Старший лейтенант Г. Тогда мне казалось, что таких у нас один: Гуськов. Тот самый, который, говорят, стоял в ту ночь у телефона и повторял: «Принято. Принято». Тот самый, который встретил рассвет на гребне, среди ям, вырытых своим же огнём, — и на котором месяц спустя зацветёт красная звёздочка ордена.

«Причина: предположительное передвижение противника по нашим позициям» — так я это прочёл, и от того, как это прочла моя голова, у меня до сих пор сохранился привкус во рту. Противник передвигался по нашим позициям — и чтобы остановить его, накрыли позиции целиком. С нашими. С Пашкой. С Саньковым аккордеоном, который теперь молчит. С Кириной тетрадью, в которой теперь не хватает строк.

Я делаю то, чего делать нельзя: вырываю две страницы. Разворот. Аккуратно — по шву, чтобы не обтрепать, чтобы, если понадобится, сложить и показать, как показывают справку. И сажусь с ними в тот овраг, что за конюшней, — в овраг, где в снегу стоит чёрная вода и где сапоги уходят в снег по щиколотку, — чтобы не показывать их на людях. Не знаю почему. Может, потому, что бумага с таким текстом — как граната без чеки: ей не место в комнате с людьми.

И там, в овраге, я его и встречаю. Гуськова. Он идёт по оврагу — один, без конвоя, без ордена на груди (орден он носил только в деревне, в штабе, где полируется на свету), с портфельчиком под мышкой, деловой, аккуратный, с лицом человека, у которого в журнале всё сходится. Он видит меня — сержанта с букетом бумаги в руке — и понимает всё за одну секунду, потому что у таких, как он, есть инстинкт на улику, как у собаки на флажок.

— Что у вас, Соколов?

— Заявка, — говорю я. — Двести семнадцатая.

— Дайте сюда.

— Не дам.

И мы стоим в овраге — он на одной стороне, я на другой, между нами чёрная вода, — и я держу пистолет. Я его снял в тот же вечер, в штабе, тихо, с предохранителя, и теперь он в моей руке, и он тёплый — я грел его весь декабрь, как грел тетрадь Кира, потому что у меня всё тёплое: я в этом мире ношу в себе два тепла, и одно из них — неправильное: пистолет должен был остаться холодным.

— Соколов, — говорит Гуськов, и голос у него — не испуганный, а административный, как у человека, читающего вслух протокол. — Ты знаешь, что сейчас будет?

— Будет выстрел, — говорю я.

— Будет не выстрел. Будет рапорт. — Он откладывает портфельчик на снег, медленно, как откладывают перо, — и я вдруг понимаю, что он сейчас будет разговаривать, а разговаривать с ним я не умею, потому что я умею стрелять в врага и писать живым, а разговаривать с предателем — нет. — Рапорт о сержанте Соколове, который сошёл с ума и жалеет о документе, подписанном не им, — о сержанте, который решил, что он судья. О судьях у нас порядок короткий: суд — только трибунал. И на трибунале твои две страницы — ничья бумага. А мои — приказ. Приказ, понимаешь? Подписан. Скреплён. Внесён в журнал. Против приказа сержант не может.

Я стою и смотрю на него — и вижу то, что видел на гребне в ту ночь, когда легло своё: его лицо у телефона. «Принято. Принято». Он не стрелял. Он передал. Он был проводником смерти — и проводник не виноват: проводник просто протянул руки, а руки — они как чистые руки санитара, только наоборот. И я его не убиваю. Не могу. Поднимаю пистолет — и вместо выстрела выходит крик. Не слово — крик. Крик выходит из меня сам, как вода из пробитой бочки, и он такой, что Гуськов садится в снег, и снег под ним становится тёмным — нет, снег под ним остаётся белым, а тёмное — это оно, моё, то, что я не смог сделать.

И я убегаю. По оврагу, по снегу, вверх, к лесу, — убегаю от человека, которого я должен был застрелить и не застрелил, от улики, которую держал в руке, от себя прежнего. Я убегаю — и за спиной, из оврага, несётся: «Сержант! Держи! Держи его!» — и это уже не Гуськов, это его слово — слово, которое улетает от него и растёт, как снежный ком.

Той же ночью я начинаю быть кукухой. Не потому, что выбрал. Потому что другого способа остаться человеком на этой войне нет — как нет другого способа писать живым, кроме как писать «живой».

Орден на Гуськова приходит через неделю. Орден — предателю. Мне говорят об этом в санроте — где я сижу, где ко мне приходят шёпотом, как к прокажённому, — и я сижу и думаю: каково это — получить орден за то, что выстрелил в своих? Каково — носить его на груди, где у Пашки остался кулак с запиской? И я понимаю: не надо спрашивать. Он носит его так же, как носил бы штрафной знак: одинаково легко. У таких людей совесть — как гильза: пустая, а звенит красиво.

Кира приходит ко мне в санроту через три дня после оврага — с скулой, разбитой в кровь, и глазом, который заплыл. Кто его бил — я не спрашиваю, я знаю: кто-то, кто услышал слово «предатель» и решил приложить его к тому, кто первым это слово выговорил. Он садится рядом, молчит, а потом достаёт свою тетрадь — и говорит:

— Серёжа, у меня двадцать четыре. — Он говорит это как бухгалтер говорит о приходе, только голос у него в горле. — Двадцать четвёртый — вписал сегодня утром. Санёк. Санитары вытащили. Живой.

И я понимаю, что у Кира счёт живых не останавливается, что он продолжает, что война — это не то, что закончилось с гребнем, это то, что продолжается в каждой вписанной строке. И я говорю ему только одно:

— Кукуха, — говорю я.

Он поднимает на меня глаз — тот, который открывается между двумя скулами, — и смотрит долго. Потом кивает:

— Ку-ку.

И это — не подсказка. Это — состыковка. Мы оба теперь кукухи: я — теми, кого вешаю мелом, он — теми, кого вписываю в тетрадь. Один считает вниз, другой — вверх. И где-то между нами, в этом разрыве, живёт то, что мы оба зовём правдой.

Глава 4. Чужой счёт

Январь я провожу в дороге — по тылам, по деревням, по тылам снова. Кукуха уже не имя: легенда. Легенда, которая ходит по линии фронта сама, без меня, как тень, которая ушла

от хозяина и теперь обходит всех по кругу. Мне приписывают то, чего я не делал. На мёртвых — на тех, кого санитары оставляют вдоль дорог, — находят мел. Цифры. Белые, крупные, на груди, как орден, только орден пострашнее: цифра. «3». «7». «12». Никто не знает, кто пишет. Все знают, кто это. Все знают, что это — Кукуха.

И вот тут начинается чужой счёт.

Первый — Дёминыч. Старик, который остался в деревне у переправы и который каждый вечер выходит к реке и считает. Считает своих — тех, что ушли в ополчение и не вернулись. Я нахожу его в феврале, у проруби, и он мне рассказывает про свой счёт — коротко, как рассказывают о весне:

— Шесть, — говорит он. — У меня их шестеро ушло. Пятеро — соседей, один — сын. Я их в списке держу. В уме держу — куда в бумагу? Бумага — она для тех, кто живой. А я — не живой, я — счёт. И знаешь, Серёжа, — а он знает, кто я, по голосу, по тому, как я говорю, — знаешь, что самое страшное в списке?

— Что?

— Я сам в нём шестой. Я в нём с первой зимы. Потому что человек, который не спас своего сына, — он и есть в списке, только по другую сторону. Он в списке не как убитый. Он в списке как тот, кто не дожил до того, как надо было уйти.

И я слушаю Дёминыча — и не могу ему ответить, потому что у меня в списках то же самое: я — в списке. Я — Кукуха. Я — тот, кто ставит цифры. И если Дёминыч считает себя шестым, то я считаю себя первым. Всегда — первым.

Второй — водитель. Маленький, вертлявый, с зелёной геранью, прикрученной к ветровому стеклу его полуторки: не помню, кто и когда прикрутил — ветровое стекло в геранях редко выживает, а у него — живая, зелёная, с белыми прожилками. Он подвозит меня от развилки до моста, и в пути он говорит — не мне, в пространство:

— А я её держу, — говорит он. — Три зимы. Другие цветы не приживаются — а эта живая. Смешно, да? Весь фронт — у неё на стекле.

И потом, в конце дороги, когда я вылезаю из машины, он мне говорит — уже не в пространство, а мне:

— Знаешь, кто ты? Ты — тот, кто ставит цифры. А я — тот, кто их возит. Я везу твои цифры в тыл, Серёжа. В тыл они идут, как почта: без адреса, без отправителя, без обратного. Никто их не разберёт — а они дойдут. — И он усмехается, криво, одними губами. — Только не называй меня так.

— Так — как?

— Кукухой. Не называй меня так. Я не кукуха. Я — водитель. Я везу всё: и цветы, и цифры, и живых, и мёртвых. Всё везу — а кукухой не буду. Кукуха — это тот, кто счёт ведёт. А я везу.

И это правильные слова. И я их запоминаю.

А в конце января, в третьем тыловом городке, где меня ещё никто не знал, — приходит Дудник. Капитан. Следователь. Он приходит не с ордером — с блокнотом. Он входит в избу, где я сижу с чаем, и садится напротив, и кладёт блокнот на стол, и говорит:

— Я не буду тебя брать, — говорит он. — Я буду тебя слушать. Ты — легенда. А легенду не берут. Легенду слушают. Рассказывай.

И я рассказываю — не всё, не сразу, — рассказываю про журнал, про овраг, про то, что легенда ушла гулять без меня. И Дудник слушает — и в его блокноте ложатся строки, ровные, аккуратные, по линейке, — и я понимаю, что этот человек открыл дело не против меня. Он открыл дело против системы, которая позволила легенде существовать. Он открыл дело против всех, кто подписывал. И он будет его вести — до штаба армии, до тех, кто выше. И мне в этом деле — не подозреваемый, а свидетель.

Но у свидетельства есть цена. Цена эта — что однажды придётся назвать вслух то, что я до сих пор держал в кулаке, как Пашка держал записку. Придётся разжать кулак. И я не знаю, смогу ли.

— Соколов, — говорит Дудник, вставая. — У тебя счёт?

— Есть.

— Сколько?

— Не знаю. Счёт больше не мой.

— Вот с этого и начнём, — говорит он. — Со счёта, который больше не твой.

И он уходит — и я сижу с чаем, и чай остывает, и за окном идёт снег — тот же, который шёл в ту ночь над гребнем, — и я понимаю, что чужой счёт теперь мой. Что счёт не бывает чужим. Счёт, если его кто-то начал, — всегда чей-то, и тот, кто начал его, обязан его закончить.

Глава 5. Переправа

Не все доходят до четыреста девятой.

Тридцать километров по тылу — и на двадцать втором километре ты попадаешь в войну.

Мы выходим в ночь. Сорок человек пополнения, колонна по одному, дистанция в пять шагов — чтобы один снаряд не снимал двух. Снег стоит стеной, мелкий, сухой, он шуршит под ногами — так шуршит мука, если насыпать её в мешок и нести. Слева, над лесом, висит узкий серп месяца — рогами вниз, как ложка над кастрюлей. От него мало света, но его хватает, чтобы видеть дорогу: колея заледенела и блестит синим, как рельсы. Идут молча. Кто-то спотыкается — спотыкается тоже молча, потому что ругаться на морозе нельзя: рот открывается — и лёгкие обжигает льдом.

Я иду в середине. И я слушаю.

Где-то справа, за лесом, бьют орудия — ровно, как маятник. Бум. Пауза. Бум. Пауза. Три секунды между — значит, четыре дивизиона; секунда — значит, больше. Я не ищу глазами врага, как ищут остальные. Я уже знаю этот звук: маятник означает, что там, справа, в ночи, кто-то прямо сейчас пересчитывает своих. Так же, как считаю я. И от этой мысли лес справа перестаёт быть лесом. Он становится счётом. Сорок человек идут по колее, снег шуршит, месяц висит над чёрной зубчатой чертой елей — и всё это спокойно, почти мирно, как прогулка. А в трёх километрах маятник. Бум. Пауза. Бум.

Молодой — ему лет девятнадцать, шинель на нём новая, ни одного пятна, и от неё пахнет крахмалом и чужими складами — догоняет меня и идёт рядом. Дыхание у него с присвистом: шапку нахлобучил, ватник затянул, у него внутри всё горит от страха, и пар изо рта идёт плотный, как из самовара.

— Слышь, — шепчет он. — Далеко ещё?

— Двадцать километров, — говорю я.

— А там стреляют?

— Там всегда стреляют.

— А ты был?

— Был.

Он замолкает. Потом, после сотни шагов:

— А если не вернёмся, нас будут искать?

— Нас не будут искать, — говорю я. — Нас будут вписывать. В списки. Списки — это те же поиски, только дальше.

Он снова молчит — уже до самой остановки. При маленьком привале он отходит в сторону, встаёт лицом к лесу и долго стоит. Я знаю, что он делает: запоминает. Так делают те, кому двадцать лет и кто впервые понял, что сзади больше нет ничего своего. Он запоминает эту ночь, эту дорогу, этот месяц над елями — потому что боится забыть, каково это — идти живым.

На рассвете маятник разворачивается в нашу сторону.

Сначала небо просто сереет — так серо, что нельзя понять: идёт ли снег или кончается ночь. Потом в серости проступают деревья — сначала чёрные, потом серые, потом вдруг белые: иней осел на ветки за ночь, и лес стоит в хрустальном обмундировании, как рота на смотре. Потом красная узкая полоса на востоке — и в этой полосе мир вдруг обретает цвета: снег становится розовым сверху и синим в тени, а дорога — длинной белой раной, уходящей за перелесок.

И в эту тишину — в самую суть рассветного покоя, когда даже птицы ещё не решились заговорить, — врезается свист.

Мина свистит только тогда, когда она падает на тебя. Если она летит мимо — не услышишь. Это я усвоил на гребне. И поэтому, когда я слышу свист, я успеваю только открыть рот.

Немцы бьют по дороге. Не по нам — по дороге: миномёт накрывает изгиб у брода, где дорога, поворачивая, открывается реке, как ладонь. Первая мина — в голову колонны, в машину с боеприпасами. Я вижу это за миг до взрыва: старенький полуторак с брезентом, брезент припорошен снегом, и кто-то, сидя на брезенте сверху, дремлет, голова на груди, — и он ещё дремлет, и снег струится мимо, — и всё это исчезает. Не разлетается — исчезает, потому что при прямом попадании глаз теряет картинку раньше уха. Звук приходит, когда картинки уже нет.

— Ложись! — ору я. — В канаву!

И меня уже несёт в канаву: волна настигает раньше команды. Земля бьёт снизу, как лошадь под ногой, — один раз, коротко, и сбивает всё, что стоит. Я качусь под откос и ухожу в воду — в бродную канаву, в ледяную воду по грудь, и первое, что я чувствую, — не боль и не страх, а то, как холод обнимает грудную клетку и стискивает её, как ладонь стискивает яйцо: ещё немного — и хрустнет.

Над головой, в воздухе, висит то, что было машиной. Колёса. Борт. Ящик. Оно висит секунду — вернее, мне кажется, что секунду, а на самом деле, наверное, дольше, — и падает в лес, и лес глотает его беззвучно.

Вторая мина — дальше. Третья — ближе. Четвёртая — в воду, в двух шагах от меня, и она не разрывается. Я лежу рядом с неразорвавшейся миной, в воде, по грудь, и не могу пошевелиться. Вода вокруг — серая, пахнущая железом и мокрым войлоком; сверху по воде плывёт снег — мелкими, нетороплимыми, идеально круглыми пятнами, и от этого вода похожа на горячее молоко, в которое налили холодное, — и только она не горячая. Она такая, что через пять минут в ней начинается счёт дыхания. Я считаю: раз — вдох, два — выдох, три — вдох. Вдох — и не выдохнуть: выдохни глубоко — вода поднимется к подбородку. Так дышат в воде. Так же дышат и в страхе. Совпадение это меня когда-нибудь погубит.

— В воду! — орут сзади. — Все в воду!

И сорок человек ложатся в канаву, и мины накрывают дорогу, и вода вокруг вскипает: каждый разрыв поднимает в ней столб льда, грязи и пара, и этот столб оседает обратно дождём. Мне в лицо падает снег с куста на берегу — целая порция, сухая, холодная, белая. Он тает на щеках медленно. Я лежу и чувствую, как тают три маленькие белые точки на моём лице, — и это последнее ощущение в мире, которое не про смерть. Я держусь за него, как за обломок доски.

И в этой воде, под миномётом, я думаю одну-единственную мысль, самое постыдное, что есть у меня: я не хочу умирать в чужой главе. Я ещё не дошёл до Володи.

Обстрел кончается так же внезапно, как начался. Немцы бьют по дорогам на рассвете, потому что по дорогам идут пополнения, — это работа, рутина, у них на это график: дорога по утрам, участки по полудням, балки по вечерам. Всё как у нас на мельнице: у смерти тоже есть смены.

Мы вылезаем из воды. Сначала медленно — тела не слушаются, одежда тяжелеет на сто пудов: ватник вобрал в себя воду, валенки стали свинцом. Потом быстрее — потому что по

телам пошёл огонь: мороз сразу нашёл мокрое. Из сорока человек — двенадцать. Остальные лежат вдоль дороги — кто шевелится, кто нет, кто лежит ровно, слишком ровно, будто по струне вытянули, кто лежит с повернутой к небу головой, и снег ложится им в лицо, падает на открытые глаза и не тает, потому что глазам нечего тратить тепло.

И вот тут я впервые вижу работу Володиного ремесла в чистом виде.

Из леса выбегают двое санитаров — старик и мальчишка. Они выбегают не как выбегают остальные — торопливо, оглядываясь, — они выбегают спокойно, так, как выходит к станку токарь: работа началась. И они начинают разбирать лежачих. Быстро, профессионально, — разбирать, как разбирают картошку: этот — живой, этот — нет, этот — в повозку, этот — в сторону. Смотрят не в лицо — на шею: жилы. Рукав сгибают — на запястье. Поднимают мизинец — и опускают. Всё за секунду. И по каждому уже решено — и ни одно решение не окончательно: живой может стать мёртвым, пока его тащишь, а мёртвый — ни за что.

Старика я узнаю сразу.

Не по лицу — по спине. Он идёт вдоль дороги, сгорбленный, и несёт раненого на спине, верёвочной петлёй, как несут мешок, — и шепчет. Я слышу его шёпот с десяти шагов — не потому, что он кричит: он шепчет так, как кричат.

— Переправа, переправа. Берег левый, берег правый.

Володя.

Он проходит мимо меня — не видит. Видит то, что под ногами: носилки, воду, льдины. Раненый на его спине тихонько стонет в такт шагам, как колокол раскачивается: на шаг. Володя шепчет и идёт, и иней на его бороде — крупный, наросший, как в чужой морозной стране, — и глаза у него красные от снега, и я вдруг вижу то, что потом не забуду никогда: на его левом рукаве, на локте, — дыра. Не от осколка — от старости: локоть вытерся о тысячу носилок, о тысячу плеч, о тысячу чужих боков, и ткань стала бумагой. У санитаров локти старятся раньше всего. Как у матерей ладони.

Дальше до четыреста девятой я добираюсь уже не один — с батальоном, который после обстрела отходит на оборонительный рубеж у деревни Редкие Дворы. Мне это даже удобно: четыреста девятая стоит по соседству. Неудобно другое: рубеж — это значит, что будет бой.

Рубеж занимает к полудню. Деревня стоит на пригорке, изба к избе, печные трубы дымят — ещё дымят, потому что люди там ещё живут: бабы, старики, дети — выгнать их не успели. Иней на лозах изгороди, и на крышах, и на дровяных поленницах, и на заборах, и на качелях у избы, где качели скрипят на морозе — тонко, по-детски, в такт ветру. Собака лежит на солнце у колодца — рыжая, старая, дремлет. Один раз поднимает голову — смотрит на нас, идущих с оружием, — и снова кладёт голову на лапы. Она видит солдат не первый год. Её война давно уже не война, а график.

Утро я провожу в окопе — уже не пополнение, а «пополнение, придать третьему батальону». Окоп мне роют двое — мальчишка и дядя Митя, который до войны был плотником и роет окопы, как плотник: красиво, с прикидкой. Стенки у него прямые, дно ровное, бруствер сверху уложен плашмя, как доски в половицу, и ни одного лишнего движения лопатой. Я смотрю на его работу и понимаю: это человек, который своё дело любит. И копает окоп. Эту мысль я держу всю дорогу, пока мы роем, — она греет сильнее шинели.

Солнце поднялось над лесом — низкое, белое, как разведённое молоко. Луч его ложится в окоп сбоку, на уровне плеч, и идёт по снегу на бруствере узкой полосой — и в этой полосе, если смотреть вдоль, видно, как мелкие снежинки висят в воздухе. Они не падают. Они стоят. Мороз такой, что снежинки не успевают упасть, — они висят в луче, неподвижные, красивые, как застывший хор, и я смотрю на них и думаю: вот если бы всё можно было так остановить. Один день. Одну секунду. Кольку с его пустыми ладонями. Пашку с запиской.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.